НИТЬ

Если мать ждёт у старого моста, значит, я жив. Я сын. В потёмках возвращаюсь домой с уловом. Не утонул. Я кричу на мать, стыжусь её назойливой заботы, граничащей с сумасшествием. Мать, успокоенная видом невредимого и здорового, своего, плоть от плоти, бредёт домой.

Мать в селе считали немного не в себе, или, как говорится, «того», при этом нужно закатить глаза, иногда повертеть пальцем у виска. Четвертая, младшая среди сестер, малограмотная, читала по слогам, писала с ошибками, медленно выводила угловатые крупные каракули, в которых не сразу узнаешь буквы. Безотцовщина. Отец умер в тридцать седьмом или тридцать восьмом. Мать не помнила даты смерти, его обличия. Отца звала тятенькой. Строго. Но скупая ласка опутывала звук.

Я, как и мать, рос без отца. Он был плотником и пьяницей. Больше о нем я ничего не знаю.

После молодости, когда задумываешься ни над чем, а просто, глядя вдаль, я поймал себя на мысли, что похож на мать. Порой эту похожесть начинал ненавидеть. Но я, плоть от плоти, исторгаю то, чем родительница меня наградила. Часто сжимаю в кулак пальцы, словно пытаюсь нащупать, как глупый ребенок, воздух, при разговоре отстукиваю ногтями по столу, чеканю такт, так проще высказывать главное, фыркаю, как лошадь. Только мать это делала от старости, привычки, усталости, а я, пока отнимая от этого набора старость, ещё и от раздражения. Чаще на самого себя. «Выродился. Надо же, выродился». В такие минуты откровения перед самим собой кто-то бы должен всплеснуть руками, как мать или ее сестра, моя тетка, бездетная, принимавшая меня за родного сына. Но оставалась тишина, воздух не рассекали ладони. А мне было тошно от самого себя, от «щеликуна», от «большеголового филина», от «глотки». Так меня звала мать. Скачок в прозвищах стремителен, как и скачок в возрасте. Когда мать не злилась, называла меня Михаилом. Я наполнялся силой, так наполняются   
ею пацаны, впервые расколов дрова, впервые прокосив вручную загонку, впервые подстрелив утку, впервые поймав крупную рыбу.   
Я единственный мужик в доме. Я. Не провались, не оступись. Проглотив тошноту от долгой работы и солнца, чувствую в руках тяжесть лопаты, думаю: «Нет. Мать жилистее».

Из «щеликуна» я превратился в «глотку», потому что громко и часто ору. Иногда превращаюсь в пьянь. А мать была лишь матерью. Звал ли я ее мамой? Кто ж теперь знает? Через года на все прошедшее я смотрю спокойно, не дрогнет ни единый мускул, трогаю обросшие колючие щеки. Я гляжу со стороны, вижу колченогую мать и себя, так, как если бы кто-то приглядывал за нами сверху, наблюдая всю несуразную картину.

Что мне досталось в наследство: солёная бурая кровь, замешанная на упрямстве и грубости?

Я помню саночки и скрипучий снег под блестящими полозками.   
Я запрокидываю голову, а там, в черноте, висят звезды, холодные пучки. От простуды я защищён шубой, шапкой и шалью, которую повязывают на спину и грудь, перекинув через плечи пуховые, крест на крест, импровизированные лямки. Мне хорошо. Я мал. Ещё не стыжусь материнской опеки и бабской шали.

Опека эта увивалась за мной, тащилась по следу назойливой преданной собакой, я отбивался как мог. Глупец. Даже пьяного, потерявшего обувь и шапку, мать находила меня.

Порвать эти путы. Было решено, когда в кружке краснел круто заваренный вишняг. Именно так, с остротой «г» на конце, в которой самый сок, вязкая кислота. Заварки в доме давно не было, как не было и карамели для детей, игрушек, колбасы, экзотических фруктов в крупной и чистой росе, появляющихся на выпуклом, как бычий глаз, экране.   
Я не люблю этот глаз, там обман, там кровь. Я вспотел, испугался, не за себя, за светлые глазки русых дочерей, когда в д/ф прокрутили отрезанные головы наших солдат. Я не любил это серое бельмо, когда шум лился из динамика, путались голоса и выстрелы, далёкие, в далёкой, ставшей чужой, стране.

Я и теперь его не люблю, сквозь это стекло, в центре которого вначале мерцает вспышка, разбегаются в стороны полосы, сочится рябь, разносит цвет и всё отчётливее сыплются знаки, нули, символы, ставшие целью всех и всея.

Но я решил порвать. Вишняг буреет в кружке, дочка жуёт лепёшку, макая в варенье из глубянки. Не клубника, это по-городскому, а глубянка. И вкус сразу приторней, и аромат явственней. Глубянку с луга принесла мать.

Но я решил порвать. Не для себя, для этой русой и светлоглазой, для старшей, с такими же, как у меня, вытаращенными и упрямыми глазами.

Мать долго пыхтела. Теперь молчит, зная, что я почти порвал, но тоненькая нить ещё держит, самая крепкая, самая скрипучая. Жена знает, что я обману. Сначала мать, задумчивостью уверив, что всё брошу и сорвусь, потом жену и детей, доверяя им воспоминания о прошлой жизни, потом себя, доводя до душевного изнеможения, до бессонницы, до муторности, до похмельного шума в голове.

Чай из вишняга остыл. Выплёскиваю бурую жижу в раковину, снова ставлю чайник, предаюсь размышлениям, пока на голубых лепестках греет пузатые бока железный друг с толстым налётом внутри.

Мать пришла, медленно прошаркала ногами по половикам, прокашлялась, давая знать, что здесь, возвращает меня в реальность, раздумья обрываются, а вот нить, та, последняя, наоборот, крепчает. Жена, взяв из холодильника банку с молоком, идёт поить телёнка, молчит, предчувствуя близкий скандал. Но сегодня его не будет. Я так решил. Я выдохся ещё утром, когда тётка, пустив по морщинам слезу, с дрожащими губами говорила, но в моей памяти всплывают отрывки: куда, одни, поможем, не могу, а дом.

– На сено-то завтре поедешь? – заговорила мать.

– Поеду.

Налил в чашку крутой кипяток, звонко размешал сахар. «Завтре, да, завтре», – твержу про себя, так же, как и мать, выламывая окончание. И в этом изломе чувствуется мой, собственный, надлом. Ещё немного, завтре, послезавтре… Никак не решусь.

– Много косить не буду, – дёрнуло что-то сказать, как будто наперекор матери, в пику, как сказал бы пацан.

– Пошто?

– Куда мне его? – я отглотнул кисловатый бурый кипяток. – Всё равно скот под нож пускать.

Мать молчала, громко дышала, пыхтела, узкие синеватые губы, силясь удержать воздух, раскрывались, вываливали его, горячий, с фырканьем, со шлепком о липкую в слюне кожу. Теперь я вновь почувствовал, что нить подалась, натянулась, дрожит, скрипит, почти, ещё немного. Но наддать нечем. Молчу.

Часто поморгав влажными серыми глазами, мать развернулась, утоптала сбитый половик. Пошла прочь. Я соскочил, держа в руках кружку, подошёл к окну, стал ждать, как в детстве, когда появится на длинной улице между домов мать. Звякнул металл, раскрылась калитка, мать, заложив за спину руки, шла по дороге, припадая на правую кривую ногу, на голове платок, с золотистой тонкой нитью, такой же крепкой, как та, что не могу разорвать, он пахнет стариковским потом и дешёвым мылом, которого в шкафу в избытке. На худых сутулых плечах бурая, как вишняг в кружке, кофта.

И как я мог сидеть на этих воспалённых от работы коленях, и как могла она казаться такой большой и сильной? Я отогнал все мысли, ведь я решил порвать.

Утром, твёрдо зная, что сегодня точно, покончив с последним в моей жизни покосом, с треском рвану нить. Наступит свобода. Я упьюсь ей, я буду жить, я стану одним из тех, кто теперь слоняется по узким шумным улицам, дышит смрадом выхлопных газов, топчет асфальт, глазеет на рябь витрин и спины прохожих. Я буду таким же, в погоне за призрачной свободой и знаками, цифрами, навеки потерявшийся в такой огромной, но теперь чуть меньше, и новой стране. Я видел её громаду из окна поезда, когда катил в армию и обратно. Её безмерность я разглядел на пике сопок, вдохнул в густом орешнике, затаившись от всех, услышал в перекличке неведанных птиц. Тогда эта громада не пугала, разверзнувшись, принимала в себя, обволакивала, обещая спокойствие и рутину, теперь же она не вмещалась в моё сознание, пугала чем-то новым, ещё непрозондированная моими чувствами, исторгала меня, а я в ответ отторгался от неё. Я, отделённый от мира всё тем же выпуклым глазом массивного ящика в углу комнаты. Что сулила мне порванная нить, если я остался слепым котёнком, отнятым от тёплого материнского брюха?

Но я решил твёрдо порвать, подскакивая на сиденье в тракторе, поглощая кряхтенье и шум старого мотора. Рядом, подтыкая меня мягким боком, раскачивалась жена, на голове белел платок, туго завязанный на затылке.

Ловя себя на мысли, что вижу эти валки, пахнущие увядшими травами, в последний раз, я не чувствовал ликования, привкуса маячившей перед глазами свободы. Там, впереди, была лишь пустая неизвестность, более ничего.

Шум сена заполнил всё, заполз в уши, под рубаху сыпалась труха, липла к потной спине, паут впивался в саднящую от грязи и соли кожу.

Копны поддавались быстро, под напором силы сбивались в стог, ровный, с вытянувшейся куполом в небо вершиной. Я помнил, что рву нить, оттого бесновался, прикусив губу, пронзал вилами травяной пласт, взметал его кверху, забрасывал на стог, как поверженного, неизвестного мне, но таящего беду. Утирал мокрое лицо.

Сквозь пелену пота выхватил знакомое движение, всё тот же тёмный платок с крепкой нитью. Мать шла по хрустящей стерне, закинув на плечо вилы.

Молча, без прелюдий, накинулась на сено, врезала остриё, пронзила сушь, взметнула кверху. Я удивлялся её силе и стойкости: из-под навильника, часто семеня, загребая пространство, ковыляли кривые ноги, торчали сухие руки, покрытые синими венами, над согбенным телом высились косматые травы.

Кричать на мать было бессмысленно, она, воткнув ноги в сапоги, шла по тракторному следу, по его отпечатку в густом песке, к далёким прокосам и высоким стогам. Шла по пятам, за мной, сыном.

Нить снова удержалась, ослабилась. На время я сдался, прилёг на траву. Над головой шелестел лист ветлы, несло горечью полыни, трещали кузнечики. Сделалось дурно, подступила тошнота, в животе заворчала разгорячённая утроба, наполненная тёплой водой.

Мать жевала кусок хлеба, под тонкой кожей быстро ходили желваки, подрагивал острый кончик носа. Мой нос такой же, и сам я – обличием в мать. Рядом с ней сидит жена, нанизывает на вилку жареное яйцо, отправляет в рот белок, покрытый золотистой корочкой, с каплей масла, что вот-вот сорвётся и обласкает её потный подбородок.

Я поднялся, к горлу подступила кислая слюна, подался вперёд, исторгая тёплую выпитую воду, перемешанную с горькой слизью. Лежал, смотрел в недосягаемое небо. На голубом полотне белела черта, исходившая от серебристой точки. Ближе к точке черта была тонкой, изящной, но на удалении от неё изящность сменялась жирной размашистой полосой, превращаясь в россыпь белых ватных клякс. Если приглядеться, то у точки можно было различить серебристые крылышки. Там, окружённые металлом, летят люди, какие-то другие, недосягаемые, без покосов и солёных спин, без тяжести вил в руках. Они дышат городским смрадом, заключенные в объятья машин, стоят в пробках, исторгая шум на разные клаксонные голоса, они, покорившие знаки, или покорившиеся им. Другие – смелые, наглые, уверенные, я же – мелок, посреди этой степи, точка, для них, с высоты, неразличимая. Моё время остановилась, замерло, словно я здесь, под этой шелестящей ветлой, лежу вечность. Я не сбегу, никак не разрежу нить. Мысль о том, что решено порвать, забилась куда-то в угол. На смену пришла горечь и тошнота.

– В Ильин-от день не робят, – спустился сверху голос. Оторвавшись от неба, я вспомнил, что этот голос принадлежит матери.

– Время идёт. Некогда, – я поморщился, снова накатила тошнота.

– Хвораш?

– Нормально, – я махнул рукой.

Рядом подсела жена.

– Забор пал.

– Мать, я знаю. Не разорвусь пока.

– Ну, дак, теперь надумал ехать, – в голосе матери звучала нескрываемая обида, и теперь она говорила так, словно готовилась вывалить разом все скопившиеся за это время упрёки, облить ими сына с ног до головы, дать звонкую затрещину, ухватить за седеющий клок волос на лбу.

– Это при чём здесь?

Жена поправила на голове платок, отвернулась. Вновь назревал скандал, ставший привычным теперь в нашем доме. В такие минуты она молчала, уходила, отворачивалась, делала всё возможное, лишь бы не видеть наших выпученных глаз, алых щёк, резких линий губ, покрытых слюной и пеной.

– Не живётся, – рванула на себя мать.

Я ухватил нить за другой конец, выждал, чтоб рвануть ещё сильней.

– Работы ей нет, – я ткнул пальцем в силуэт жены, давно покинувшей наш громкий дуэт, – детей кормить надо, мне платят с гулькин хрен.

– Мы с Антонидой пенсию-то получам.

Кровь хлынула в голову, залила щёки, глаза, перед которыми поплыли цветные круги. Мать смотрела упрямо и бестолково, мне захотелось взвыть, громко, по-звериному, понимая, что объяснить матери ничего не могу. «Я – мужик. Единственный в семье. Я. Я». Рвалось наружу. Тот, кто впервые в двенадцать расколол дрова, тот, кто впервые в десять принёс крупный улов тебе, мать. Мне хотелось бить себя в грудь и брызгать слюной. Но эти глаза, эта глупая пустота в них не поддавалась мне.

– Да поезжай ты, глотка, – мать тяжело поднялась, отряхнула рукой юбку, поволоклась к копне.

Сено дометали молча, под солнцем, в вёдро.

К ночи в голове загудело, пространство, пошатнувшись, поплыло, прошиб озноб, заполз под рубаху, схватил за загривок, волосы, как у одичавшей собаки, поднялись клочками, застучали зубы. Я обхватил руками бока, забрался под одеяло с головой. Но воздуха не хватало, вытащил голову на свободу. Перед закрытыми глазами плясали цветные развесёлые капли, от которых становилось дурно, я открывал глаза, удостоверившись, что в родных стенах всё по-прежнему, снова удалялся в темноту, но капли возникали из ниоткуда, неотступные, навязчивые, чему-то веселились, потешались. Я воткнул под мышку градусник. Как в детстве глядел на ртутную полоску, она, разогнавшись, ползла по прямой, пересекала мелкую резьбу делений: 37, 38, 39, 40. Полоска замерла. Я отлепил горячее стекло от кожи, почувствовал резкий запах пота.

Ночь не дала прохлады. После полуночи пронеслись раскаты. На смену цветным каплям пришли живые всполохи, бьющие в воспалённые глаза сквозь веки. Ударил гром, припустил дождь, над крышей   
  
загудел ветер, как кулаком, врезался в железо, выбивал барабанную дробь. Погода бесновалась. Утихла только к утру.

На смену грому прокатился голос матери:

– Сено-то, сено-то, – кричала она, – всё разметало!

Я соскочил с кровати. Жены не было, после неё на матрасе оставались ещё тёплые вмятины.

– Сено всё раскрыло! – блажила мать. Именно блажила, и не иначе. Слова путались, разлетались по дому, в комнате проснулись дети, заткнули уши пальцами, спрятались под одеяло.

Быстро натянув на худое тело одежду, я бросился к трактору. От бега в ушах шумело, глаза болели, мозг подпрыгивал в коробке. Какая нить, какие мысли? Всё запуталось, сплелось в тугой клубок из обиды, горечи, досады, злости. А нить? Где же она? Самая «дюжливая» и скрипучая, пронизывала этот тугой клубок, крепила.

Трактор, исторгнув смрад, затарахтел. Я забросил за кабину, на подкрылки, вилы и грабли, фары служили опорой, запрыгнул в трактор.

Следом бежала мать. Выругавшись, я остановился. Хватая толстыми пальцами мазутные косяки, мать ввалилась в тесную кабину.

Всю дорогу я чувствовал, как рядом раскачивается худое и изведённое работой материнское тело, то самое, от плоти которого я уродился. Уродился в неё, в мать. Упрямый и грубый, с этой нитью, так прочно пронизывающей все мои мысли, чувства, весь клубок горечи, который никак не мог из себя исторгнуть.

Я видел, как по стерне были раскиданы лепёшки сена, ставшего серым, тяжёлым от дождя. С большого купола стога была снята верхушка, как срезанная маковка кулича ножом, легко, невесомо. Разорвана на клочки, развеяна по лугу. Тот, кто бесновался всю ночь, не щадил силы, выламывал вислаки, хватал горстями сухую, плотно умётанную траву, вырывал клочками, швырял на ветер. Упругий поток подхватывал их, запашистые, с приглушённым шелестом, гнал на вершины верб, насаживал в низины, стелил на пригорки.

– Вот он, Ильин-от день, – проговорила мать и скинула с подкрылков вилы. Зубцы со скрипом и лязгом протащились по железу.

«Вот он я. Единственный в доме мужик. Я», – металось в воспалённой голове. Снова прошиб озноб, но иной, не от температуры, от злости и досады. Я злился на себя, на погоду, на мать с её Ильёй, на бога. Но на него я злился иначе, давно раскусив, что высший разум, там, который есть, по нашим догадкам, именно на небе, большой шутник. Я облизал губы, пробуя горечь вновь удавшейся шутки. С богом я осторожничаю, но знаю, что он в прошлой жизни был большим грешником, чем я, оттого и шутки его такие горькие, едкие, острые.

Мать втыкала в стог вилы, снимала пласты сена, разбрасывала на стерню, под пекло выкатившегося солнца.

Нить порвалась. Но мне теперь она не нужна. Я сам вцепился в свой клубок горечи и пошёл к согбенной старухе, в которой некогда жила моя молодая мать. Странно, но её молодого лица я не помню. На нём всегда чернели глубокие морщины.

Нить порвалась, но жизнь осталась жизнью, не потерялась, не исчезла, не сорвалась во тьму. Может, это не что иное, как сама  
 любовь?

Любовь? Здесь само звучание этого слова ничего не значит. Про нее говорят с придыханием где-то там, далеко, за морями, а ещё в карамельно-  
  
розовых и приторных сериалах, и от слова, слетевшего с пухлых губ модельной актрисы, становится дурно, сахар налипает на глотку. Здесь, в моей глуши, в моем холодном краю, о любви не говорят. Но остро чувствуют. Чувства здесь не атрофировались. Как если бы подушечкой пальца надавить на холодное острие ножа. Так и с любовью, которая проявляется лишь неуклюжим действием, без слов, но осязаема и ощутима. Я знал, что и мать любит меня по-особому, неповоротливо-медвежьи, грубо, сухо.

Если мать ждёт меня у моста, переминаясь на кривых ногах, «караулит», вслушивается, где заурчит мой старый Иж, значит, на кончике острия пульсирует любовь. Заурчит мотор – сын жив. Не утонул. Сегодня я буду молчать, сегодня не буду ругать ее беспокойства.

Если мать ждёт у старого моста... Нет. В сумерках показалось.